**Афанасий Фет - поэт и человек**

Благой Д.Д.

Необычная, сложная, во многом весьма драматическая судьба присуща литературной деятельности Фета. Вместе с тем при всей своей оригинальности судьба эта носит отчетливые приметы времени, тесно связана с ритмами движения русской общественной жизни и русской литературы середины и второй половины XIX века. Равным образом литературная судьба Фета не только органически соотносится, но очень причудливо переплетается с его жизненной судьбой.

Афанасий Афанасьевич Фет-Шеншин прожил долгую жизнь. Родился он в октябре или ноябре 1820 года, почти одновременно с выходом в свет первого большого создания русской литературы XIX века - поэмы Пушкина "Руслан и Людмила"; умер 21 ноября 1892 года, примерно через два месяца после появления в печати первого произведения Максима Горького и в период выхода первых сборников стихов русских модернистов. Как видим, в хронологических рамках его жизни происходит все развитие русской классической литературы XIX столетия.

Жизнь Фета - студента, офицера, помещика, камергера двора его императорского величества - протекала на виду у всех и во время, от нас не слишком отдаленное. Тем не менее некоторые основные моменты были окутаны покровом густой, почти непроницаемой тайны, до конца не раскрытой и сейчас окрасившей ее в глубоко трагические тона1.

Фет родился и рос все свои детские годы в семье богатого и просвещенного в духе русского XVIII века (был пылким приверженцем идей Руссо) орловского помещика Афанасия Неофитовича Шеншина и его жены, урожденной Шарлотты Беккер, с которой он встретился в Германии и привез с собой на родину. И вдруг над головой четырнадцатилетнего отрока грянул неожиданный удар: крещение его сыном Шеншина было объявлено незаконным. В немецкий пансион, находившийся в одном из городов Прибалтики и считавшийся образцовым воспитательным учреждением, куда он при некотором участии Жуковского был незадолго до того помещен, пришло на его имя письмо от отца со странной надписью - не Шеншину, как всегда, а Фету. В письме сообщалось, без указания причин, что отныне именно так он и должен впредь именоваться. Первое, что последовало, были злые догадки и издевки товарищей. А вскоре Фет ощутил тягчайшие последствия, связанные с новой его фамилией Это было утратой всего, чем он неотъемлемо обладал, - дворянского звания, положения в обществе, имущественных прав, даже национальности, русского гражданства. Старинный потомственный дворянин, богатый наследник внезапно превратился в "человека без имени" - безвестного иностранца весьма темного и сомнительного происхождения. И Фет воспринял это как мучительнейший позор, набрасывавший, по понятиям того времени, тень не только на него, но и на горячо любимую им мать, как величайшую катастрофу, "изуродовавшую" его жизнь. Вернуть то, что было им, казалось, так непоправимо утрачено, вернуть всеми средствами, не останавливаясь ни перед чем, если нужно, все принося в жертву, стало своего рода навязчивой идеей, идеей-страстью, определившей, в сущности, весь его жизненный путь. Оказывало это влияние, и порой весьма роковое, и на литературную его судьбу.

Древние говорили - поэтами рождаются. И Фет действительно родился поэтом. Замечательная художественная одаренность составляла суть его сути, душу его души. Уже с детства был он "жаден до стихов"; испытывал ни с чем не сравнимое наслаждение, "повторяя сладостные стихи" автора "Кавказского пленника" и "Бахчисарайского фонтана"2. В немецком пансионе ощутил и первые "потуги" к поэтическому творчеству: "В тихие минуты полной беззаботности я как будто чувствовал подводное вращение цветочных спиралей, стремящихся вынести цветок на поверхность; но в конце концов оказывалось, что стремились наружу одни спирали стеблей, на которых никаких цветов не было. Я чертил на своей аспидной доске какие-то стихи и снова стирал их, находя их бессодержательными"3. Стихи Фет продолжал слагать со все большим рвением и в пансионе историка, писателя, журналиста, близкого к Пушкину и Гоголю, профессора Погодина, в который поступил для подготовки в Московский университет, и в особенности в самом университете (на словесном отделении философского факультета). "Вместо того чтобы ревностно ходить на лекции... почти ежедневно писал новые стихи..." Этому способствовала и дружба с Аполлоном Григорьевым - его сверстником, будущим поэтом, своеобразным и выдающимся критиком, человеком со сложившейся совсем по-иному, но тоже весьма драматичной судьбой (в семье его родителей отец Фета поселил сына). Оба друга "упивались" поэзией, "принимая иногда, - иронически добавляет Фет, - первую лужу за Ипокрену". В доме Григорьевых, который Фет называл "истинной колыбелью" своего "умственного я", собирался кружок студентов, куда, в частности, входили будущий поэт Полонский, будущий историк С. М. Соловьев, отец философа и поэта Владимира Соловьева. Первое "благословение" на серьезную литературную работу Фет получил от Гоголя, которому через Погодина передал образцы своего творчества. Гоголь советовал продолжать: "Это - несомненное дарование". Ободренный Фет решил издать свои стихи отдельным сборником, заняв триста рублей ассигнациями у гувернантки сестер: молодые люди были влюблены друг в друга, мечтали пожениться и наивно надеялись на то, что издание не только быстро раскупится, но и принесет автору литературную славу, которая обеспечит их "независимую будущность"4. В 1840 году сборник вышел в свет под названием "Лирический Пантеон".

В "Отечественных записках", которые благодаря активному участию в них Белинского стали самым популярным журналом 40-х годов, органом передовой литературной и общественной мысли, появился очень сочувственный отклик, автором которого был молодой критик, друг Белинского П. Н. Кудрявцев. "Как хороша его рецензия... на "Лирический Пантеон" Ф., - сразу же отозвался со свойственной ему исключительной эстетической чуткостью Белинский, добавляя: - только он уж чересчур скуп на похвалы... А г. Ф. Много обещает"5. И в печатных своих отзывах ближайших лет Белинский неоднократно выделяет Фета, заявляя, что "из живущих в Москве поэтов всех даровитее г-н Фет", что среди его стихотворений "встречаются истинно поэтические"6. Действительно, в числе его стихов, опубликованных в 1842- 1843 годы, уже имеются жемчужины фетовской лирики.

Отзывы Белинского были "путевкой" в литературу. Фет начинает усиленно печатать свои стихотворения - и в погодинском "Москвитянине" и в "Отечественных записках", а через несколько лет при активном участии Аполлона Григорьева подготавливает новый сборник своих стихов.

Баратынский прекрасно писал о целительном значении поэтического творчества:

|  |
| --- |
| Болящий дух врачует песнопенье.Гармонии таинственная властьТяжелое искупит заблужденьеИ укротит бунтующую страсть.Душа певца, согласно излитая,Разрешена от всех своих скорбей;И чистоту поэзия святаяИ мир дает причастнице своей. |

Строки эти, конечно, были известны Фету и не могли не быть близки ему - подобный мотив неоднократно и с очень большой силой будет звучать и в его теоретических высказываниях и в стихах. Несомненно, радость творчества и литературный успех во многом целили его "болящий дух", но укротить владеющую им "бунтующую" идею-страсть они не смогли.

И вот во имя поставленной цели Фет круто ломает свой жизненный путь - покидает в 1845 году и Москву и ту живительную, высокоинтеллектуальную атмосферу, которая сложилась в кружке Григорьева: вскоре по окончании университета поступает нижним чином в один из провинциальных полков, расквартированных на далекой южной окраине, в Херсонской губернии. Сам Фет дал впоследствии точное объяснение этому. На военной службе скорее, чем на какой-либо другой, он мог начать осуществление своей цели - дослужиться до потомственного дворянства и тем самым хотя бы частично вернуть утраченное. Перестал через некоторое время Фет и значиться "студентом из иностранцев" - вернул себе русское гражданство. Однако покупалось это весьма дорогой ценой. В своих воспоминаниях он рассказывает, в каких тяжелых условиях - полной оторванности от привычной среды, литературной жизни, новых книг, журналов и к тому же в каком материальном "стеснении", порой "граничившем с нищетой", он теперь оказался.

Фет еще продолжал писать и печатать стихи, но его литературная деятельность в новых условиях все более ослабевала. Одному из близких с детства друзей, И. П. Борисову, он с горечью и тоской говорил, что может сравнить свою жизнь среди чудищ всякого рода ("через час по столовой ложке лезут разные гоголевские Вии на глаза, да еще нужно улыбаться") "только с грязной лужей", в которой он нравственно и физически тонет7, твердит, что страданья, им испытываемые, похожи на удушье заживо схороненного ("никогда еще не был я убит морально до такой степени"). В одну из подобных минут он признается в тайном желании "найти где-нибудь мадмуазелю с хвостом тысяч в двадцать пять серебром, тогда бы бросил все" (характерна сама цинично залихватская в стиле "душки-военного" фразеология этого признания - печать, уже наложенная окружающей средой). Однако во имя поставленной цели Фет терпит все это целых восемь лет. Причем, когда в результате ревностной службы, унизительного подлаживания к начальственным "Виям" достижение желанной цели казалось уже совсем близким, она снова отдалилась. За несколько месяцев до первого офицерского чина был издан, дабы затруднить доступ в дворянство выходцев из других сословий, указ, согласно которому для получения наследственных дворянских прав надо было иметь более высокий чин. Но Фет настойчиво и ревностно продолжал вести свою "ложную, труженическую, безотрадную жизнь", хотя и сравнивал себя с мифологическим Сизифом. "Как Сизиф, тащу камень счастия на гору, хотя он уже бесконечные разы вырывался из рук моих". Но возможность отступиться от поставленной цели Фет категорически отвергал: "Ехать домой, бросивши службу, я и думать забыл, это будет конечным для меня истреблением"8.

Да дворянства Фет не дослужился, "мадмуазели с хвостом" не нашел, но обстоятельства стали складываться для него благоприятнее. В 1853 году ему наконец-то удалось вырваться с "Камчатки", из "сумасшедшего дома" - добиться перевода в гвардейский лейб-уланский полк, который был расквартирован сравнительно недалеко от Петербурга, куда он получил возможность часто отлучаться. К этому времени наступила благоприятная перемена и в отношении общества к поэзии.

Во второй половине 40-х годов стихи, как и предсказывал Белинский, утратили в глазах публики всякую ценность: журналы совсем перестали печатать их, спрос на новые сборники стихов, почти не появлявшиеся, совершенно упал. Но к концу 40-х годов громко зазвучала настроенная, "сообразно с духом времени", на тот "другой лад", которого Белинский так ожидал, лира зачинателя новой эпохи в развитии русской поэзии, глашатая передовых общественно-политических и эстетических идей века - Некрасова. К этому времени Некрасов стал хозяином бывшего пушкинского журнала "Современник", куда перешел из "Отечественных записок" Белинский. К журналу примкнули самые замечательные дарования того времени, будущие корифеи литературы второй половины XIX века - Тургенев, Лев Толстой, Герцен, Гончаров. В 1850 году в "Современнике" начала печататься на весьма скромном месте, в отделе "Смесь", серия статей Некрасова под весьма скромным же заглавием "Русские второстепенные поэты". Целью их было показать, что, кроме признанных, давно вошедших в обиход каждого культурного человека великанов русской поэзии и скомпрометировавших ее эпигонов, существует еще много замечательных явлений, по тем или иным причинам не обративших на себя внимание критики и читателей.

В том же 1850 году вышел давно прошедший через цензуру, но пролежавший три года без движения второй сборник стихотворений Фета. Он привлек к себе весьма сочувственное внимание в кругу ближайших участников "Современника". Горячим пропагандистом поэзии стал Тургенев, который приступил вместе с "кружком" нескольких других сотрудников "Современника" - критиками В. П. Боткиным, А. В. Дружининым - к подготовке нового издания фетовских стихотворений, в основу которого был положен "вычищенный", основательно переработанный под настойчивым давлением Тургенева, сокращенный почти наполовину сборник 1850 года9. Выходу в 1856 году этого издания предшествовало извещение Некрасова, дававшее его автору столь же высокую оценку, как и стихам Тютчева: "Смело можем сказать, что человек, понимающий поэзию и охотно открывающий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе, после Пушкина, не почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему г. Фет"10. Помимо восхищенных откликов критиков-эстетов Дружинина и Боткина, сделавших поэзию Фета боевым знаменем "чистого искусства", его стихи расхваливают в журналах всех направлений.

Эта восторженная встреча не могла не воодушевить Фета, который почти вовсе перестал писать стихи, продолжая лишь "со скуки" заниматься переводами из Горация, за что сослуживцы насмешливо называли его "дубовым классиком". Теперь последовал новый, еще более сильный, чем в первую половину 40-х годов, прилив его творческих сил. Фет развивает активнейшую литературную деятельность, систематически печатается почти во всех наиболее крупных журналах. Явно стремясь расширить рамки прославившего его литературного жанра небольших лирических стихотворений, пишет поэмы и повести в стихах, пробует себя в художественной прозе, много переводит (не только из еще ранее особенно полюбившегося ему Гейне, но и из Гете, Шенье, Мицкевича, восточных поэтов, в частности большой цикл немецких переложений из Хафиза), кроме того, публикует ряд путевых очерков, критических статей. Принятый как свой в среде талантливейших писателей и литераторов современности, Фет чувствует себя морально воскресшим. Благодаря литературным заработкам наступает несомненное улучшение и в его материальном положении. Однако по службе ему наносится очередной удар. Тяжелый камень, втащенный было Сизифом-Фетом почти на самую вершину горы, снова рухнул вниз. Одновременно с выходом сборника его стихов был издан новый указ: звание потомственного дворянина давал лишь чин полковника. Это отодвигало осуществление цели Фета на столь неопределенно долгий срок, что продолжение военной службы становилось совершенно бесполезным. Естественно вставал вопрос: что делать далее?

Давнее его желание исполнилось: нашлась невеста с необходимым ему приданым. Сразу же после появления нового указа он взял годовой отпуск, совершил на накопившийся литературный гонорар путешествие по Европе (Германия, Франция, Италия) и там же, в Париже, в 1857 году женился на дочери богатейшего московского чаеторговца и в то же время сестре его литературного единомышленника и почитателя В. П. Боткина - Марии Петровне Боткиной. О том, что это был брак отнюдь не по сердечному влечению, красноречиво свидетельствует рассказ брата Л. Н. Толстого, Сергея Николаевича. Как-то, когда он был нездоров, Фет пришел навестить его; "они дружески разговорились, и Сергей Николаевич, будучи всегда очень откровенен и искренен, вдруг спросил его: "Афанасий Афанасьевич, зачем вы женились на Марии Петровне?" Фет покраснел, низко поклонился и молча ушел. Сергей Николаевич с ужасом впоследствии рассказывал об этом"11.

Вскоре же, в 1858 году, Фет вышел в отставку и поселился в Москве. Поначалу, во имя все той же своей идеи-страсти, он добивается пополнить полученный "сундук с червонцами" еще более энергичной литературной деятельностью, проявляя присущую ему огромную работоспособность, но зачастую явно поступаясь качеством своего творчества. Фет "стоит на опасной дороге, - с тревогой пишет об этом в 1859 году один из горячих поклонников его поэзии, Дружинин, Льву Толстому, - скаредность его одолела. Он уверяет всех, что умирает с голоду и должен писать для денег... не слушает никаких увещаний, сбывает по темным редакциям самые бракованные из своих стихотворений..."; требует "неслыханную цену" (выражение Некрасова) за свои произведения12. Однако скоро же он начинает терпеть неудачи на этом пути. Его поэмы встречаются весьма прохладно, да он и сам признает, что лишен как "драматической" (он пытался писать и пьесы), так и "эпической жилки". Сделанный им, видимо, именно для денег и опубликованный перевод трагедии Шекспира "Юлий Цезарь" вызвал обстоятельный, но весьма иронический и суровый разбор, автор которого убедительно показывает, что "в нем нет Шекспира ни признака малейшего"13. Правда, попутно дается весьма уважительная оценка Фету-лирику. Однако и для этого главного направления его творчества обстановка снова складывается все более неблагоприятно.

Огромный успех лирические стихи Фета встречали все же преимущественно в литературных и потому довольно узких кругах. Это прямо должен был признать тот же Боткин, отмечая, что, хотя в журналах этих лет о лирике Фета отзывались с "сочувствием и похвалами, но тем не менее, прислушиваясь к отзывам о ней публики не литературной, нельзя не заметить, что она как-то недоверчиво смотрит на эти похвалы: ей непонятно достоинство поэзии г. Фета. Словом, успех его, можно сказать, только литературный: причина этого, кажется нам, заключается в самом таланте его"14.

Последнее справедливо лишь отчасти. Истинная причина заключалась не столько в характере фетовского поэтического дарования, сколько в резком, еще более остро обнаружившемся несоответствии его с "духом времени". В отличие от гениального выразителя этого "духа" - Некрасова лира Фета на всем протяжении его творчества не была переозвучена "на другой лад".

"Дух времени" во второй половине 50-х и особенно в 60-е годы проявился в полной своей силе. Это, естественно, отразилось и на отношении к поэзии Фета. Позднее, уже в период "Вечерних огней", в предисловии к их III выпуску, Фет объяснял отношение к нему критиков-шестидесятников тем, что, "в сущности, люди эти ничего не понимали в деле поэзии". Это неверно. В 60-е годы появлялись и грубо вульгарные статьи и высказывания о Фете, но основные представители революционно-демократической мысли вовсе не были лишены эстетического чутья. Глубоко характерно в этом отношении признание Чернышевского в письме к Некрасову в 1856 году: "Поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли... лично на меня ваши пьесы без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденциею. "Когда из мрака заблужденья...", "Давно отвергнутый тобою...", "Я посетил твое кладбище...", "Ах ты, страсть роковая, бесплодная..." и т. п. буквально заставляют меня рыдать, чего не в состоянии сделать никакая тенденция. Я пустился в откровенности, - но только затем, чтобы сказать вам, что я смотрю (лично я) на поэзию вовсе не исключительно с политической точки зрения. Напротив, политика только насильно врывается в мое сердце, которое живет вовсе не ею или, по крайней мере, хотело бы жить не ею"15. Безусловно высоко, подобно Некрасову, и в этом отношении совпадая с критиками-эстетами, ценил Чернышевский и поэтическую прелесть стихов Фета, его "прекрасный лирический талант"16. Схожие отзывы находим и у Салтыкова-Щедрина, признававшего, что "большая половина" стихотворений Фета "дышит самою искреннею свежестью", которая "покоряет себе сердца читателей", что романсы на его стихи "распевает чуть ли не вся Россия"17. Вместе с тем очень характерен отзыв, который он тут же дает о стихотворении "Шепот, робкое дыханье...". В нем нет ни одного глагола, и это дало легкий повод к ироническому подшучиванию некоторых критиков-вульгаризаторов, к огромному количеству пародий всякого рода. "А ведь сколько оно шума наделало когда-то, сколько его ругали!.." - вспоминал восхищавшийся стихотворением Лев Толстой18. Но наделало оно шума не только, вернее, даже не столько оттого, что в нем отсутствовали глаголы, а потому, что являло своего рода квинтэссенцию всего мира фетовской поэзии, как она к тому времени себя проявила, было ярким воплощением основного пафоса поэта - воспевания природы и любви в их органической между собой слиянности. В нем все то, что привлекало в фетовских стихах не только критиков-поэтов, но что высоко ценили наиболее выдающиеся критики - революционные демократы; вместе с тем как бы очерчен тот круг, за пределы которого, за редкими исключениями, не выходила в эту пору муза Фета. Поэтому нет почти ни одной статьи критиков-современников, где не говорилось бы об этом стихотворении. Это как раз и подчеркивает в своем отзыве Салтыков-Щедрин, прямо заявляя, что "в любой литературе редко можно найти стихотворение, которое своей благоуханной свежестью обольщало бы читателя в такой степени", а с другой стороны, видя в нем подтверждение того, сколь "тесен, однообразен и ограничен мир, поэтическому воспроизведению которого посвятил себя г. Фет", представляющий собой, по мнению критика, повторение "в нескольких стах вариантах"19 именно этого пленительного стихотворения. Примерно то же писал и Добролюбов, противопоставляя в этом отношении Фета, талант которого способен во всей силе проявляться "только в уловлении мимолетных впечатлений от тихих явлений природы", Тютчеву, которому "доступны, кроме того, - и знойная страстность, и суровая энергия, и глубокая дума, возбуждаемая не одними стихийными явлениями, но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни"20.

В суженности художественного мира фетовской поэзии - в отсутствии в нем не только гражданских мотивов, но и вообще связи с общественными вопросами, ставившимися "духом времени" и остро волновавшими современников, - и видели критики-шестидесятники коренной недостаток Фета.

А "дух времени" утверждался в литературе все тверже и определеннее. Общественно-политическая атмосфера в стране все накалялась, складывалась революционная ситуация. В "Современнике" окончательно утвердилась линия Чернышевского - Добролюбова; представители "эстетического" кружка во главе с Тургеневым покинули журнал, одновременно ушел из него Л. Н. Толстой, а еще до этого, в связи с появлением статьи о переводе Шекспира, отказался сотрудничать в нем и Фет. С конца 1860 года в том самом "Русском слове", где была опубликована фетовская статья о Тютчеве, руководящую роль начал играть ниспровергавший "эстетику" Писарев.

Все это крайне ограничивало дальнейшие литературные возможности Фета. Ему стало ясно: добиться "жизнеустройства" так, как он себе это представлял, посредством литературно-журнальных заработков, столь же безнадежно, как это было на военной службе. И Фет снова круто ломает свой жизненный путь. Поощряемый шурином, Боткиным ("А ты, Фет, я думаю, можешь быть хорошим хозяином при твоем практическом смысле") и, преодолев сопротивление жены, он приобретает на ее имя и средства небольшое имение - хутор Степановну, как раз в тех местах, где находились родовые поместья Шеншиных, становится если и не мценским дворянином, то, на первых порах, мценским помещиком.

Примерно в эту же пору ушел от столичной жизни в свою Ясную Поляну и Л. Н. Толстой. "Нашему полку прибудет, и прибудет отличный солдат..." - сочувственно писал он Фету, узнав об его намерении сесть на землю21. Но, подобно Пушкину, который, намечая в 30-е годы планы своей последующей жизни, также мечтал об отъезде в Михайловское ("О, скоро ли возвращусь я к моим пенатам. Труды поэтические. Крестьяне..."), Толстой в своем деревенском уединении и помещичьих занятиях искал и нашел наиболее подходящие условия для творческой деятельности, которая именно там и достигла своего наивысшего расцвета, и вместе с тем возможности, как его Нехлюдов в "Утре помещика", улучшить положение крестьян. Фетом руководили совсем иные побуждения: разбогатев, осуществить издавна поставленную им заветную цель - вернуть отнятое несправедливой судьбой. "Он теперь сделался агрономом - хозяином до отчаянности, - писал Тургенев Полонскому, - отпустил бороду до чресл - с какими-то волосяными вихрами за и под ушами - о литературе слышать не хочет и журналы ругает с энтузиазмом"22. Правда, в 1862 году в журнале "Русский вестник" Каткова, ставшем к этому времени на резко реакционные оппозиции, стало снова появляться имя Фета, но под произведениями совсем нового для него жанра - статьями о "земледельческом деле", непосредственно связанными с его новыми сельскохозяйственными занятиями и написанными с точки зрения интересов нового, "жаждущего выхода на рыночный простор"23 помещика-буржуа пореформенного типа, каким, быстро сориентировавшись в сложившейся к этому времени обстановке в стране, Фет и сделался ("Заметки о вольнонаемном труде", "Из деревни", "По вопросу о найме рабочих" и др.). Корыстно-помещичий характер этих статей вызвал взрыв негодования среди даже тех революционных демократов, которые восхищались прелестью его лирических стихов.

Все это знаменовало окончательный разлад между Фетом и "духом времени". В 1863 году он выпустил новое собрание своих стихотворений в двух частях, которое в отличие от быстро разошедшегося сборника 1856 года оставалось, несмотря на небольшой тираж, до конца его жизни в большей своей части нераспроданным. Сам Фет как бы подводил им итоговую черту под своим поэтическим творчеством, почти полностью прекратив писание стихов.

Но хозяином-землевладельцем он оказался не только хорошим, но, говоря словом Толстого, "отличным", проявив в этом, совсем новом для него деле чрезвычайную практическую сметку и присущие ему исключительные способности. Он не только привел купленный им запущенный хутор в цветущий вид, но и пустился в торговые обороты - завел мельницу, конный завод (коневодством он, как одно время Л. Н. Толстой, особенно увлекался). Поздравляя его с очередной "великолепной сделкой", Тургенев выражал уверенность, что она наполнит его карманы "ручьями цаковых". Приводя эти слова, Фет поясняет: "Тургенев всегда говорил, что будто бы никто не произносит с таким выражением, как я, слово "целковый" и что ему каждый раз кажется, что я уже положил его в карман24. И "цаковые" действительно полились в карманы Фета ручьями. Благосостояние его все росло. Помимо Степановки, он покупает второе имение, а впоследствии приобретает еще одно - и особенно богатое - Воробьевку. С удовлетворенной гордостью сообщал он позднее одному из своих бывших товарищей-однополчан К. Ф. Ревелиоти: "...я был бедняком, офицером, полковым адъютантом, а теперь, слава богу, Орловский, Курский и Воронежский помещик, коннозаводчик и живу в прекрасном имении с великолепной усадьбой и парком. Все это приобрел усиленным трудом, а не мошенничеством"25.

Среди соседей-помещиков Фет становился все более уважаемым лицом. Выражением этого был выбор его в 1867 году на установленную судебной реформой 1864 года и считавшуюся тогда весьма почетной должность мирового судьи, в которой он оставался в течение целых одиннадцати лет. "Свободный выбор уездными гласными наилучших людей в мировые судьи, которым предоставлялось судить публично по внутреннему убеждению, являлся... чем-то священным и возвышающим избираемого в его собственных глазах", - рассказывает Фет в своих мемуарах. Правда, он вскоре же избавился, по его словам, от такого "наивного" взгляда, но тем не менее продолжал считать свое избрание "событием", "которое по справедливости может быть названо эпохой, отделяющей предыдущий период жизни и в нравственном и в материальном отношении от последующего"26.

Действительно, новое общественное положение Фета открывало ему возможность полностью осуществить главную цель его жизни - вернуть утраченную дворянскую фамилию и связанные с этим наследственные права. В своих мемуарах Фет рассказывает, что, разбирая в 1873 году бумаги покойного отца, он натолкнулся на предписание орловской консистории к мценскому священнику перевенчать повенчанного за границей в лютеранской церкви с матерью Фета отставного штаб-ротмистра Афанасия Шеншина по православному обряду. "Тяжелый камень, - пишет он, - мгновенно свалился" с его груди. Вопрос, промучивший его всю сознательную жизнь, разрешился: он был рожден в законном браке Шеншина с его матерью, но только по не признанному в России лютеранскому обряду27. На самом деле почти все в этом рассказе заглажено, передано и неполно и неточно28. Фет давно уже и твердо знал, что он не только формально перестал считаться сыном Шеншина, но и вообще им не являлся. Несмотря на все принятые предосторожности, до нас дошел решающий документ - его письмо от 16/28 июля 1857 года к своей будущей жене М. П. Боткиной, которой он счел необходимым перед браком раскрыть страшную и неотступно мучившую его тайну. На конверте письма, которое Фет просил сразу же по прочтении сжечь, надпись: "Читай про себя", и рукой М. П. Боткиной "Положить со мной в гроб". В нем Фет пишет: "Моя мать была замужем за отцом моим - дармштадтским ученым и адвокатом Фетом и родила дочь Каролину и была беременна мною. В это время приехал и жил в Дармштадте вотчим мой Шеншин, который увез мать мою от Фета, и когда Шеншин приехал в деревню, то через несколько месяцев мать родила меня... Вот история моего рождения"29.

Однако и в этом, несомненно, рискованном признании (Фет опасался, что после него невеста порвет с ним) он, видимо, не решился сказать всего. Ученым и адвокатом его отец не был, а значился мелким "чиновником". Мало того, среди лиц, близко знавших Фета, упорно ходила другая, гораздо более прозаическая версия. "Давно было известно, - рассказывает с их слов покойный академик Грабарь, - что отец Фета, офицер русской армии двенадцатого года, возвращаясь из Парижа через Кенигсберг, увидел у одной корчмы красавицу еврейку, в которую влюбился. Он купил ее у мужа, привез к себе в орловское имение и женился на ней". Трудно сказать, насколько эта версия соответствует действительности, хотя Грабарь прямо говорит, что она была "секретом полишинеля"30. Но так или иначе бесспорно, что Шеншин отцом Фета не являлся и что Фет уже давно об этом знал. Однако это его не остановило. Опираясь на консисторское предписание, он обратился в том же 1873 году с просьбой на высочайшее имя о восстановлении в сыновних и всех связанных с этим правах, ссылаясь на "жесточайшие нравственные пытки" и "душевные раны", которые лишение их ему причиняет31. И поставленная перед собой Фетом цель наконец-то после сорока лет непрестанных помыслов, настойчивых трудов и усилий была им достигнута. 26 декабря того же года последовал царский указ "о присоединении отставного гвардии штабс-ротмистра Аф. Аф. Фета к роду отца его Шеншина со всеми правами, званию и роду его принадлежащими"32. "Теперь, когда все, слава богу, кончено, ты представить себе не можешь, до какой степени мне ненавистно имя Фет, - писал он жене. - Умоляю тебя, никогда его мне не писать, если не хочешь мне опротиветь. Если спросить, как называются все страдания, все горести моей жизни? Я отвечу тогда: имя Фет. Вновь приобретенным именем стал он подписывать и все письма к друзьям и знакомым. Тургенев встретил это едкой иронией; появилось и несколько насмешливых эпиграмм на исчезнувшего Фета и неожиданно народившегося Шеншина. Глубже взглянул на это Л. Н. Толстой. "Очень удивился я, получив ваше письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, - писал он ему, - хотя и слышал... давно уж историю всей этой путаницы; и радуюсь вашему мужеству распутать когда бы то ни было. Я всегда замечал, что это мучило вас, и, хотя сам не мог понять, чем тут мучиться, чувствовал, что это должно было иметь огромное влияние на всю вашу жизнь"33. Толстой был прав, но проявил здесь Фет не только "мужество".

Помимо замечательного художественного таланта, Фет вообще был незаурядной, богато одаренной натурой, обладал исключительно яркими интеллектуальными качествами. По словам близко знавших его современников, он был "прекрасным рассказчиком", был "неистощим в речах, исполненных блеска и парадоксов"34, в остроумии не уступал такому прославленному острослову, как Тютчев35. Недаром общением с ним дорожили самые выдающиеся умы того времени. В очень оживленной и длительной переписке с ним был И. С. Тургенев. "Переписываться с вами для меня потребность, - признался он как-то Фету, полушутливо добавляя: - и на меня находит грусть, если я долго не вижу ваш связно-красивый, поэтическо-безалаберный и кидающийся из пятого этажа почерк"36. "Кроме вас у меня никого нет... Вы человек, которого, не говоря о другом, по уму я ценю выше всех моих знакомых, и который в личном общении дает один мне тот другой хлеб, которым, кроме единого, будет сыт человек", - пишет ему Лев Толстой. "Вы не поверите, как я дорожу вашей дружбой". "Жду вас с нетерпением к себе. Иногда душит неудовлетворенная потребность в родственной натуре, как ваша" - такими и подобными выражениями переполнены его письма к Фету37.

О блеске, силе, остроте, глубине и одновременно поэтичности ума Фета свидетельствуют и его критические статьи и образцы его художественной прозы. И все это интеллектуальное богатство, все напряжение воли, все силы души он обратил на достижение поставленной цели, идя к ней всеми путями, не различая добра и зла, жертвуя своей идее-страсти всем самым близким и дорогим. Теперь, когда она была достигнута, он мог бы с полным правом сказать о себе устами барона Филиппа из "Скупого Рыцаря" Пушкина: "Мне разве даром это все досталось... // Кто знает, сколько горьких воздержаний, // Обузданных страстей, тяжелых дум, // Дневных забот, ночей бессонных мне // Все это стоило?.." Фету действительно все это досталось не даром, он воистину "выстрадал" себе и свое богатство и свою восстановленную стародворянскую фамилию.

Идея-страсть, владевшая Фетом, не заключала в себе ничего "идеального" и вынуждала, как он пишет в своих мемуарах, "принести на трезвый алтарь жизни самые задушевные стремления и чувства". В годы армейской службы Фет жаловался Борисову, что "насилует" свой "идеализм" "жизнью пошлой", которую должен вести, что он "добрался до безразличия добра и зла"38. Трудный жизненный путь, суровая житейская практика Фета, безнадежно-мрачный взгляд на жизнь, на людей, на современное общественное движение все более отягчали его душу, ожесточали, "железили" его характер, отъединяли от окружающих, эгоистически замыкали в себе. "Я никогда не слышала от Фета, чтобы он интересовался чужим внутренним миром, не видала, чтобы его задели чужие интересы. Я никогда не замечала в нем проявления участия к другому и желания узнать, что думает и чувствует чужая душа"39. Так писала о нем та, которой Фет посвятил одно из самых прославленных, воистину жемчужных своих созданий - стихотворение "Сияла ночь. Луной был полон сад..." - сестра жены Толстого, Т. А. Кузминская. Примерно так же отзывались о нем и другие современники.

Но, словно бы в подтверждение древнего изречения: "Дух дышит, где хочет" - в этом орловском, курском и воронежском поместном дворянине, жестком и корыстном сельском хозяине, в, этом давно дошедшем до безразличия добра и зла пессимисте, сухом и тщеславном камергере двора его императорского величества - продолжал дышать дух поэта, и поэта истинного, одного из тончайших лириков мировой литературы.

Резкое отличие житейского Фета, каким его знали, видели и слышали окружающие, от его лирических стихов дивило многих, даже очень близких ему людей. "Что ты за существо - не понимаю, - писал Фету незадолго до его смерти Полонский, -... откуда у тебя берутся такие елейно-чистые, такие возвышенно-идеальные, такие юношественно-благоговейные стихотворения?.. Какой Шопенгауэр, да и вообще какая философия объяснит тебе происхождение или тот психический процесс такого лирического настроения? Если ты мне этого не объяснишь, то я заподозрю, что внутри тебя сидит другой, никому не ведомый, и нам, грешным, невидимый, человек, окруженный сиянием, с глазами из лазури и звезд, и окрыленный! Ты состарился, а он молод! Ты все отрицаешь, а он верит!.. Ты презираешь жизнь, а он, коленопреклоненный, зарыдать готов перед одним из ее воплощений...". Остро сформулированное Полонским противостояние двух миров - мира Фета-человека, его мировоззрения, его житейской практики, общественного поведения - и мира фетовской лирики, по отношению к тому, первому, бывшего словно бы антимиром, являлось "загадкой", "тайной" и для огромного большинства его современников.

Еще в 1850 году Фет писал другу: "Идеальный мир мой разрушен давно..."40. Место этого разрушенного - идеального - мира заняла та реальная будничная жизнь, сугубо прозаичным законам которой Фет счел себя вынужденным не только подчиниться, а и начать в соответствии с ними строить свое житейское благополучие, но которая резко отвращала его как поэта. И чем больше в своей практической деятельности Фет следовал этим законам, тем сильнее в своем поэтическом сознании стремился он выйти из-под их власти. Оглядываясь (в предисловии к III выпуску "Вечерних огней") на всю свою творческую жизнь, Фет писал: "Жизненные тяготы и заставляли нас в течение пятидесяти лет по временам отворачиваться от них и пробивать будничный лед, чтобы хотя на мгновение вздохнуть чистым и свободным воздухом поэзии". Поразительна способность Фета, в моменты своего лирического настроения, того лиризма, который он считал "цветом и вершиной жизни"41, полностью перенестись из привычного буднично-прозаического мира в диаметрально ему противоположный, заново, взамен утраченного "идеального", им созидаемый, - "благовонный, благодатный" мир своих лирических "вздохов".

Уход от неудовлетворяющего реального мира в мир, создаваемый искусством, от борьбы со злом - от "битв" - в эстетическую созерцательность - все это типичные черты того типа литературного романтизма, который Горький называл "пассивным" и родоначальником которого у нас был Жуковский. В лирике Фета, несомненно, имеются родственные Жуковскому черты, возникшие в результате как исторической преемственности, так и типологических совпадений. Но имеется и существеннейшее между ними различие.

В идеальном мире лирики Фета, в противоположность Жуковскому, нет ничего мистически-потустороннего. Извечным объектом искусства, считает Фет, является красота. Но эта красота не "весть" из некоего нездешнего мира, это и не субъективное прикрашивание, эстетическая поэтизация действительности - она присуща ей самой. "Мир во всех своих частях равно прекрасен, - утверждает Фет. - Красота разлита по всему мирозданию и, как все дары природы, влияет даже на тех, которые ее не сознают, как воздух питает и того, кто, быть может, и не подозревает его существования. Но для художника недостаточно бессознательно находиться под влиянием красоты или даже млеть в ее лучах. Пока глаз его не видит ее ясных, хотя и тонко звучащих форм, там, где мы ее не видим или только смутно ощущаем, - он еще не поэт... Итак, поэтическая деятельность, - заключает Фет, - очевидно, слагается из двух элементов: объективного, представляемого миром внешним, и субъективного, зоркости поэта - этого шестого чувства, не зависящего ни от каких других качеств художника. Можно обладать всеми качествами известного поэта и не иметь его зоркости, чутья, а следовательно, и не быть поэтом... Ты видишь ли, или чуешь в мире то, что видели или чуяли в нем Фидий, Шекспир, Бетховен? "Нет". Ступай! Ты не Фидий, не Шекспир, не Бетховен, но благодари бога и за то, если тебе дано хотя воспринимать красоту, которую они за тебя подслушали и подсмотрели в природе"42.

Представлению о "красоте", как о реально существующем элементе мира, окружающего человека, Фет остается верен до конца. "Целый мир от красоты // От велика и до мала", - читаем в одном из позднейших его стихотворений, примыкающих к периоду "Вечерних огней". И в этом отношении Фет идет не за Жуковским, а за Пушкиным, во всеохватывающем творчестве которого среди бесчисленных семян и побегов, прорастающих в последующей русской литературе, есть и несомненное и по-своему весьма значительное "фетовское" зерно. Это ощущал и сам Фет, когда на вопрос: "Ваш любимый поэт?", ответил: "Пушкин" (в другом "альбоме признаний" им назван и такой "поэт объективной правды", как Гете).

Романтическая по пафосу и по методу, лирика Фета вместе с тем сродни пушкинской "поэзии действительности", представляет своеобразный - романтический - ее вариант. Только, говоря о Пушкине, в этом словосочетании логическое ударение следует ставить на каждом из двух слов, говоря о Фете - на первом из них. "У всякого предмета, - пишет Фет, - тысячи сторон", но "художнику дорога только одна сторона предметов: их красота, точно так же, как математику дороги их очертания или численность"43.

Так как мир - по Фету - "во всех своих частях равно прекрасен, то внешний предметный элемент поэтического творчества безразличен"44. Однако в его лирике почти с самого начала и до самого конца имеется определенный отбор "предметного элемента", который, в сущности, сводится к трем основным "предметам", конечно, узким по сравнению со всем остальным, но достаточно емким и вширь и в особенности вглубь. Это природа, любовь и песня. Причем все эти три поэтических предмета не только соприкасаются между собой, но и тесно взаимосвязаны, проникают друг в друга, образуя единый слитный художественный мир - фетовскую вселенную красоты, солнцем которой является разлитая во всем, скрытая для обычного глаза, но чутко воспринимаемая "шестым чувством" поэта гармоническая сущность мира - "музыка".

Ничему ужасному, жестокому, безобразному доступа в мир фетовской лирики нет: она соткана только из красоты. Это явная односторонность, на которую поэт, демонстративно опираясь на тоже односторонне понятые и развиваемые им пушкинские суждения об искусстве, не только сознательно, но и принципиально идет: дело "поэзии или вообще художества воспроизведение не предмета, а только одностороннего его идеала"45. В этой односторонности - специфичность лирики Фета, в ней ее слабость - та узость кругозора, в которой так резко укоряли его критики-шестидесятники; но в ней же и ее сила - ее художественное обаяние, ее эстетическая прелесть.

В десятилетия своего "рабского труда", как Фет называл напряженнейшую, целиком захватившую его работу во имя своего помещичьего жизнеустройства (В. С. Соловьеву - "Ты изумляешься, что я еще пою...", 1885), он, в сущности, вовсе бросил заниматься поэзией. И это была едва ли не самая тяжкая для него - поэта - жертва из тех многих, которые он принес на алтарь своей идеи-страсти. "Он стал рьяным хозяином и гонит музу взашей", "выдохся до последней степени" - такими суждениями пестрят письма близко знавших его современников. Не только стихи Фета, но и упоминания о нем как стихотворце почти совершенно исчезают в эти десятилетия со страниц журналов. Сам он упорно твердит о себе как о поэте, навсегда конченном. Решительно не соглашался с этим один Лев Толстой: "Я от вас все жду, как от 20-летнего поэта, и не верю, чтобы вы не кончили. Я свежее и сильнее вас не знаю человека. Поток ваш все течет, давая тоже известное количество ведер воды - силы. Колесо, на которое он падал, сломалось, расстроилось, принято прочь, но поток все течет, и, ежели он ушел в землю, он где-нибудь опять выйдет и завертит другие колеса"46. И Толстой оказался весьма прозорливым Еще долгие годы лирический поток Фета оставался под землей, и все же в конце концов он с необыкновенной силой выбился наружу. Сам Фет писал поэту Константину Романову: "Жена напомнила мне, что с 60-го по 77-й, во всю мою бытность мировым судьею и сельским тружеником, я не написал и трех стихотворений, а когда освободился от того и другого в Воробьевке, то Муза пробудилась от долголетнего сна и стала посещать меня так же часто, как на заре моей жизни"47.

И в самом деле, с конца 70-х годов Фет начал писать стихи в количестве не меньшем, если не большем, чем в молодую свою пору. Новому отдельному сборнику своих стихотворений, вышедшему после двадцатилетнего перерыва, в 1883 году, когда ему было уже 63 года, он дал заглавие "Вечерние огни". Под этим же очень емким, точным и поэтичным названием он опубликовал в 1885, 1888 и 1891 годах еще три сборника - выпуска - новых стихов; подготовляя и еще один, пятый выпуск, который издать уже не успел. Заглавие, несомненно, говорило о вечере жизни, ее закате. Но "вечерний" день Фета оказался необычным, в своем роде единственным. В стихотворениях, создававшихся на исходе шестого, на седьмом и даже на восьмом десятке лет жизни поэта, его творческий дар не только сохранил свою свежесть и юношескую силу, но и достиг высшего расцвета, полностью развернулся во всем своем "благоуханном" - фетовском - своеобразии, восхищавшем критиков 50-х годов. При этом лирический поток Фета не только стал падать на снова налаженное прежнее колесо, но "завертел" и другие, новые.

Своему творческому обету Фет остался верен до самого конца. Время для новых песнопений было не менее, если не более неблагоприятным, чем в 60-е годы, когда он вовсе было ушел из поэзии. Боевому, подъемному общественному пафосу того времени была наиболее адекватна "муза мести и печали" Некрасова. Переходной поре 80-х годов, когда волна революционного народничества спала, а новая волна, порожденная начинавшимся выходом на историческую авансцену рабочего класса, еще не поднялась, оказалась особенно близка и созвучна муза гражданской скорби и уныния, голос которой зазвучал в вышедшем в том же 1885 году, что и II выпуск фетовских "Вечерних огней", первом и единственном сборнике стихов молодого двадцатитрехлетнего Надсона. По своей поэтической силе дарование Надсона было несоизмеримо с гением Некрасова, но стихи его в широких слоях читающей публики сразу же приобрели популярность едва ли не большую, чем популярность в свое время некрасовских стихов.

Стихи певца соловья и розы Фета снова оказались не ко времени. Мало того, в предисловии к III выпуску "Вечерних огней", вышедшему через три года после появления сборника надсоновских стихов, он с присущей ему агрессивностью выступил против поэзии "гражданской скорби", то есть, по существу, против Надсона и его восторженных поклонников. Все это определило литературную судьбу "Вечерних огней", еще гораздо более суровую, чем прижизненная судьба предшествовавшего творчества Фета. Несмотря на их крайне ограниченные тиражи (всего по нескольку сотен экземпляров), они оставались нераспроданными, в то время как сборник стихов Надсона переиздавался чуть ли не каждый год (за тридцать с небольшим лет выдержал 29 изданий!). Узнав от Фета о скором выходе очередного, IV выпуска "Вечерних огней", Полонский писал ему: "Жду и буду ждать твоих "Вечерних огней". Хотелось бы сказать: все ждут... весь наш интеллигентный мир ждет огней твоих, - но увы! этого никто не скажет"48.

Действительно, сколько-нибудь широкому читателю того времени стихи Фета были и чуждыми и просто неизвестными. Способствовала этому и резко антифетовская позиция большинства критиков, которые либо замалчивали его стихи, либо отзывались о них в самом пренебрежительном, а порой и грубо-издевательском тоне. Известность фетовских "Вечерних огней" ограничивалась лишь небольшим кругом друзей, к которым, правда, принадлежали, как мы знаем; такие квалифицированные читатели, как Лев Толстой, Владимир Соловьев, Страхов, Полонский, Алексей Толстой, Чайковский.

Друзья организовали торжественный, пятидесятилетний юбилей поэтической деятельности Фета. Однако исключительная ограниченность читательской аудитории не могла не вызывать в нем, как во всяком писателе, чувства глубокой горечи и затаенной печали. Это звучит и в его стихах "На пятидесятилетие музы" (особенно в первом из них: "Нас отпевают..."), и в совсем небольшом предисловии к IV выпуску "Вечерних огней", в котором, несмотря на демонстративно подчеркиваемое им "равнодушие" к "массе читателей, устанавливающей так называемую популярность", явственно пробиваются грустные нотки.

Стали одолевать Фета и старческие недуги: резко ухудшилось зрение, терзала "грудная болезнь", сопровождавшаяся приступами удушья и мучительнейшими болями, о которых он писал, что ощущает, будто слон наступил ему на грудь. Тем не менее он и в свои последние годы по-прежнему вел напряженную литературную работу, переводил, подготовлял к печати не только очередной, V выпуск "Вечерних огней", но и новое большое издание всех своих стихов. Продолжал биться в нем и тот творческий поток, в неиссякаемую молодость и свежесть которого так верил в свое время Лев Толстой. "Полуразрушенный, полужилец могилы" (так начинается одно из его стихотворений), он продолжает петь "о таинствах любви", всем своим творческим "трепетом" - шестым чувством поэта - отзывается на по-прежнему созвучный ему трепет природы, молодости, красоты ("Еще люблю, еще томлюсь перед всемирной красотою").

Последнее стихотворение Фета, до нас дошедшее, носит дату 23 октября 1892 года, а меньше чем через месяц, 21 ноября, дышать Фету не стало мочи, и он скончался от своей застарелой "грудной болезни", осложненной бронхитом. Так гласила официальная версия вдовы поэта и его первого биографа Н. Н. Страхова. На деле все было не так просто.

Подобно рождению Фета, и его смерть оказалась окутанной покровом густой тайны, раскрывшейся окончательно лишь почти четверть века спустя. За полчаса до смерти Фет настойчиво пожелал выпить шампанского, а когда жена побоялась дать его, послал ее к врачу за разрешением. Оставшись вдвоем со своей секретаршей, он продиктовал ей, но не письмо, как обычно, а записку совсем необычного содержания: "Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий, добровольно иду к неизбежному". Под этим он сам подписал: "21-го ноября Фет (Шеншин)". Затем он схватил стальной стилет, лежавший на его столе для разрывания бумаги. Секретарша бросилась вырывать его, поранила себе руку. Тогда Фет побежал через несколько комнат в столовую к буфету, очевидно, за другим ножом, и вдруг, часто задышав, упал на стул. Это был конец. Формально самоубийство не состоялось. Но по характеру всего происшедшего это было, конечно, заранее обдуманное и решенное самоубийство. Ведь в том крайне тяжелом болезненном состоянии, в котором он находился, самоубийственным, вероятно, был бы - и Фет знал это - и бокал шампанского. Самоубийства обычно рассматриваются как проявление слабости. В данном случае это было проявлением силы. Актом той "железной" фетовской воли, с помощью которой он, одолев преследовавшую его многие десятилетия несправедливую судьбу, сделал в конце концов свою жизнь такою, какою хотел, он "сделал", когда счел это нужным, и свою смерть49.

\*

Вскоре после кончины Фета начался и решительный поворот в литературной судьбе его поэтического творчества.

После выхода I выпуска "Вечерних огней" Страхов в коротком отзыве на него написал: "Не всякому времени дается чувство поэзии. Фет точно чужой среди нас и очень хорошо чувствует, что служит покинутому толпою божеству"50.

И в самом деле, в 80-е годы в отличие от 40-х гонения на стихи не было. Они в изобилии печатались в журналах, выходили отдельными сборниками, но художественный уровень всей этой массовой продукции по сравнению с великими образцами прошлого от Пушкина до Некрасова резко понизился; они далеко уступали художественной прозе тех лет, занимая в иерархии литературных родов весьма скромное место. Положение резко изменилось в 90-е годы и в особенности в первые десятилетия XX века. Уже в середине 90-х годов в литературе выступило несколько крупных поэтов, создателей нового, неоромантического течения - русского символизма, в значительной степени именно на лирике Фета воспитавших в себе "чувство поэзии" и потому сумевших поднять культуру стихотворной речи на новую высокую ступень, снова вывести стихи в первые ряды литературы. Зачинатель и "вождь" нового течения, Валерий Брюсов демонстративно ориентировался на образцы западноевропейского, преимущественно французского "декадентства", но вместе с тем "проповедовал", помимо Тютчева, и Фета51. И это было вполне закономерно.

Никакой прямой связи с западноевропейским модернизмом у Фета не было. Его достаточно широкие литературные симпатии не простирались, однако, дальше Гейне и Гюго. Но за свою долгую жизнь в литературе он, следуя внутренней логике русского литературного развития и совершенно независимо от развития той же французской поэзии второй половины XIX века, прошел типологически сходный путь. Уже почти с самого начала, с 40-х годов, романтизм Фета - его поэзия, способная улавливать "момент, самобытно играющий собственною жизнию"52 (основная, по Фету, задача истинного искусства), неуловимо музыкальные впечатления, зыбкие душевные движения в их, как и в природе, окружающей человека, "трепете", "дрожи", живой динамике переливов красок и звуков, "волшебных изменений милого лица", "непрестанных колебаниях", "переходах, оттенках", диалектическом сочетании противоположностей - был окрашен чертами, которые значительно позднее получили название "импрессионизм". По утонченности поэтического восприятия, в частности особенной чуткости к ароматам, Фет - явление, аналогичное Бодлеру и Верлену. Ощущение им "музыки" как гармонической первоосновы жизни и искусства равнозначно знаменитому лозунгу Вердена "De la musique avant toute chose" ("Музыка прежде всего"). С Бодлером роднит его и культ красоты, однако принципиально противопоказанной, по Фету, каким-либо "цветам зла".

Вообще в отличие от западноевропейских "декадентов" "мир поэзии Фета - романтический вариант пушкинской поэзии действительности - не содержит в себе "ни тени болезненности, никакого извращения души... Недаром он питает такую великую любовь к Горацию и вообще к древним; он сам отличается совершенно античною здравостью и ясностью душевных движений, он нигде не переходит черты, отделяющей светлую жизнь человека от всяких демонических областей. Самые горькие и тяжелые чувства имеют у него бесподобную меру трезвости и самообладания"53. И, за немногими отдельными исключениями (например, стихотворение "Добро и зло"), это так и есть. Это же отличает его и от "декадентских" моментов, в изобилии имевшихся в русском символизме. Но чувству поэзии, чувству красоты учились у Фета, помимо Брюсова (фетовские традиции в его поэзии, сказавшиеся в ней с самого начала и до самого конца, очень велики и разнообразны), все Крупнейшие поэты и художники русского символизма - и Бальмонт, и Андрей Белый, и Александр Блок. Белый характерно вспоминает, как Фет его, тогда восемнадцатилетнего юношу, посвятил в тайны поэзии: "Встреча с поэзией Фета - весна 1898 года; место: вершина березы над прудом: в Дедове; книга Фета - в руках; ветер, качая ветки, связался с ритмами строк, заговоривших впервые"54.

"Вечерние огни" Фета стали утренней зарей и для творчества Александра Блока. Ощущение Фетом "музыки" мира, своеобразно преломившееся в поэзии Блока и в его лирической публицистике, песенный лад и строй фетовской лирики, мотивы "радости-страданья", отдельные фетовские образы (к примеру, ими насыщена блоковская "Ночная Фиалка"), лексика, интонационные ходы - все эти схожие черты свидетельствуют о преемственной связи поэтов. Как видим, поэзия Фета явилась наиболее живым и еще более непосредственным, чем поэзия Тютчева, связующим звеном между двумя завитками спирали - русским романтизмом первых десятилетий XIX века и неоромантизмом рубежа XIX- XX веков, между Жуковским и Блоком.

Со времени русского символизма лирика Фета перестала быть достоянием лишь узкого круга друзей его музы, прочно вошла в сознание "всего интеллигентного мира".

Однако окончательно определилась сложная и такая нелегкая для поэта литературная его судьба только в наше время. "Народность" стихам Фета - их все растущую на наших глазах популярность принес, на первый взгляд парадоксально, но, по существу, вполне закономерно, как раз тот новый общественный строй, который, в представлении самого Фета, и в особенности Фета-Шеншина, должен был повести к неминуемой гибели не только его творчества, но и всего искусства мира красоты - вообще.

В этом отношении характерны строки одного из современных советских поэтов, метко очерчивающие весьма широкие границы этой популярности: "Вдали от всех парнасов и мелочных сует" поэта равно "врачуют" своим классическим стихом "ночующие" с ним в его "селе глухом" Некрасов и Афанасий Фет55.

Кое-кто в пылу увлечения шел даже дальше, готов был считать Фета чуть ли не значительнее Некрасова. Это, конечно, глубоко неверно во всех отношениях. Исторически Некрасов и Фет, которого Чернышевский справедливо считал вторым после Некрасова по силе дарования из всех современных ему поэтов56, в отношении "духа века", как он проявлялся тогда в поэзии, - единство противоположностей. В период острой идеологической борьбы между революционными демократами и их противниками это единство имело резко антагонистический характер. Сохраняло оно его и в последующие десятилетия. Стоит напомнить, что во время революционного подъема 1905 года и наступившей за ним реакции творчество наиболее крупных поэтов символизма, в какой-то мере даже Брюсова и особенно Андрея Белого и Блока, стало развиваться в направлении от Фета к Некрасову.

Однако в наши дни, в силу природы нашего социалистического общества, историческое единство противоположностей: Некрасов - Фет обретает гармонический характер. Они уже не противостоят друг другу, а один другого восполняют. Некрасов - величайший в нашей поэзии XIX века носитель гражданской - революционной - мысли и слова. Лирика Фета не только доставляет огромное эстетическое наслаждение. На лучших образцах ее можно, как подчеркивали и сам Некрасов, и Чернышевский, и Лев Толстой, и Страхов, учиться "чувству поэзии", восприятию и постижению прекрасного.

Ныне, когда так остро стал вопрос о важности, наряду с гражданским, патриотическим, и эстетического воспитания всего советского народа, подрастающих поколений, - поэзия Фета обретает еще большее значение.

Из исследовательских работ о Фете советского времени следует особенно отметить ценные биографические разыскания Г. П. Блока, основанные на новых архивных материалах, и многочисленные работы видного фетоведа Б. Я. Бухштаба.

**Список литературы**

А. Фет. Ранние годы моей жизни. М., 1893, с. 134, 32, 34.

Там же, с. 115.

А. Фет. Ранние годы моей жизни, с. 136, 140, 141, 151, 149, 169. Подробнее о "полудетском романе" Фета на с. 163-164, 169-170, 172 и 174-176.

"Отечественные записки", 1840, N 12, отд. VI, с. 40-42; Письмо Белинского В. П. Боткину от 26 декабря 1840 г. - Полн. собр. соч. в 13-ти томах, т. XI. М., с. 584.

В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII, с. 636-637; т. VIII, с. 94.

А. Фет. Ранние годы моей жизни, с. 341, 318; "Фет в переписке с И. П. Борисовым". - "Литературная мысль", вып. I. Пг., "Мысль", 1922, с. 214, 227-228.

"Литературная мысль", вып. I, с. 216, 220.

См. об этом издании: Д. Благой. Из прошлого русской литературы. Тургенев - редактор Фета. - "Печать и революция", 1923, кн. 3, с. 45-64.

Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем в 12-ти томах, т. 9. М., 1950, с. 279.

"Т. А. Кузминская об А. А. Фете". Публикация Н. П. Пузина. - "Русская литература", 1968, N 2, с. 174.

К. Чуковский. Люди и книги шестидесятых годов. Л., 1934, с. 272.

М. Лавренский (Д. Л. Михаловский). Шекспир в переводе Г. Фета. - "Современник". 1859, N 6, с. 255-258. Статья ошибочно приписывалась Добролюбову, но его редакционное участие в ней, возможно, имело место, о чем, видимо, знал и Фет. - См.: Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч. в 6-ти томах, т. 2. М., 1935, с. 722.

В. П. Боткин. Соч., т. II. СПб., 1891, с. 368.

Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XIV. М., с. 322-323.

Там же, т. IV, с. 960.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 5. М., 1966, с. 383.

В. Булгаков. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1960, с. 97.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 5, с. 383, 384.

Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 5. М. - Л., 1962, с. 28.

Письмо от 23 февраля 1860 г. - Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 60, с. 324.

Письмо от 21 мая 1861 г. - И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах; Письма, т. IV, с. 240.

А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, с. 210.

А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, с. 190.

А. Григорович. История 13-го драгунского... полка, т. II. СПб., 1912, с. 223.

А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, с. 122.

Там же, с. 274-276.

О происхождении Фета существует целая литература. Сводку ее см. в книге: В. С. Федина. А. А. Фет (Шеншин). Материалы к характеристике. Пг., 1915, с. 33-46. С того времени появились новые данные, окончательно устанавливающие истинное положение вещей.

Неопубликованное письмо Фета хранится в рукописном отделе ГБЛ (ф. 315, оп. 2, ед. хр. 22).

И. Э. Грабарь. Моя жизнь. Автобиография. М. - Л., 1937, с. 252-253.

Г. Блок. Рождение поэта, с. 17.

А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, с. 282-283.

Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 62, с. 63.

"Т. А. Кузминская о А. А. Фете", с. 171; "А. А. Фет". Биографический очерк Н. Н. Страхова. - А. А. Фет. Полн. собр. стихотворений, т. I. СПб., 1912, с. 9.

К сожалению, в отличие от "тютчевианы" эта "фетовиана" до нас почти не дошла. Сохранились лишь три его "изречения", записанные В. С. Соловьевым. Вот одно из них: "Ужасно трудно переводить с латинского на русский. В латинском слова все короткие, а в русском длинные, да еще одним-то словом не всегда и обойдешься. Например, по-латыни стоит asinus (осел. - Д. Б.), а по-русски пиши: Е-го Вы-со-ко-пре-вос-хо-ди-тель-ство Гос-по-дин Обер Про-ку-рор Свя-тей-ше-го Си-но-да" (Вл. Соловьев, Письма, Пг., "Время", 1923, с. 112).

Письмо от 15 февраля 1860 г. - И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. IV, с. 36.

Письма от 7 ноября 1866 г., 24 июня 1874 г., 30 августа 1869 г. - Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 61, с. 149, 219; т. 62, с. 96.

А. Фет. Ранние годы моей жизни, с. 543; вып. I, с. 218, 219.

"Т. А. Кузминская об А. А. Фете", с. 172.

"Литературная мысль", вып. I, с. 221.

А. Фет. О стихотворениях Ф. Тютчева. - "Русское слово", 1859, февраль, с. 75.

А. Фет. О стихотворениях Ф. Тютчева. - "Русское слово", 1859, февраль, с. 65.

А. Фет. О стихотворениях Ф. Тютчева, с. 64.

Там же, с. 65.

А. Фет. О стихотворениях Ф. Тютчева, с. 64-65.

Письмо от 28 июня 1867 г. - Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 61, с. 172.

Письмо от 25 августа 1891 г.

Письмо от 12 ноября 1890 г.

Подробнее см.: В. С. Федина. А. А. Фет (Шеншин), с. 47-53.

Н. Страхов. Заметки о Пушкине., с. 224.

Валерий Брюсов. Дневники. М., 1927, с. 112.

А. Фет. Письма из деревни. - "Русский вестник", 1863, январь, с. 444.

Н. Страхов. Заметки о Пушкине., с. 228-229.

Андрей Белый. Начало века. М. - Л., 1933, с. 28.

Владимир Соколов. Снег в сентябре. М., "Советская Россия", 1968.

Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XII, с. 695.